

*Вопросы филологии***«МЕНЯ ОЧЕНЬ ЗАНИМАЛ ГОГОЛЬ»**
из «Записок» В. О. Шервуда*B. A. Воропаев*

Работа выполнена при поддержке РГНФ

Проект № 11-04-00270а

(«Н. В. Гоголь и его окружение: Биобиографический словарь»)

О Государственном историческом музее в Москве слышал каждый. Но далеко не каждый знает, что строил здание музея архитектор, скульптор и живописец Владимир Осипович Шервуд (1832–1897) — один из главных идеологов и теоретиков «русского стиля».

Другое сооружение Шервуда в Москве — памятник-часовня «Гренадерам — героям Плевны». Он же создал памятник великому русскому учёному, врачу-педагогу, основоположнику военно-полевой хирургии, почётному гражданину Москвы Николаю Ивановичу Пирогову. Памятник расположен на Большой Пироговской улице у здания хирургической клиники Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова. Во времена Шервуда это был центр университетского клинического городка на Девичьем поле. Потомки Владимира Осиповича также оставили значительный след в истории русского искусства (сын, скульптор Леонид Владимирович Шервуд, — автор знаменитого «Часового», старшая дочь Ольга Владимировна — художница, мать выдающегося графика и живописца Владимира Андреевича Фаворского).

Между тем биография В. О. Шервуда известна сейчас, пожалуй, лишь узкому кругу специалистов. Сведения о его жизни достаточно скучны. По отцу он происходил из обруссевшего английского рода. Дед Владимира Осиповича, кентский техник-механик Вильям (Василий Яковлевич), был рекомендован английским правительством Императору Павлу I на должность придворного механика. Вильям Шервуд прибыл в Санкт-Петербург в числе других иностранных специалистов в 1800 г. и остался навсегда в России.

Предки Владимира Осиповича по материнской линии — из Малороссии. Дед, Николай Степанович Кошелевский, принадлежал к старинной казацкой семье. Мальчиком его поместили в Петербургскую академию художеств. Выпущенный по окончании курса с аттестатом первой степени, он стал помощником архитектора на строительстве Исаакиевского собора, потом строил Таврический дворец, принимал участие в строительстве Мариинского канала, устройстве набережной Невы, возведении арки Главного штаба, Михайловского дворца (ныне Русский музей) и других работах. В литейной Петербургского арсенала он соорудил колоссальную печь вместимостью до тысячи пудов.

Последние годы Кошелевский жил в Москве, куда переехал, будучи приглашён архитектором А. Л. Витбергом для участия в строительстве грандиозного памятника-ансамбля на Воробьёвых горах в честь победы над Наполеоном в 1812 г. (проект остался неосуществлённым). Кошелевский был знаком с Александром Сергеевичем Пушкиным. Семейное предание сохранило рассказ о встрече его с поэтом у московского генерал-губернатора. В своих воспоминаниях В. О. Шервуд пишет: «В ожидании приёма Николай Степанович мерно прохаживался по зале. В это время вбежал небольшого роста человек с взъерошенными волосами, с заметным беспорядком в костюме. Пушкин только что был возвращён из ссылки. Он буквально бегал по комнате. Кошелевского заинтересовала эта личность, и он, посматривая на него, вынул табакерку. Только что он её раскрыл, Пушкин бросился к нему и выбил эту табакерку из его рук, страшно сконфузился и начал извиняться. Между ними завязался разговор, вследствие которого Пушкин выразил своё удивление — встретить такого просвещённого деятеля в московском обществе и после, встречаясь с ним, любил беседовать с ним».

Елизавете Николаевне Кошелевской — третьей дочери Николая Степановича — едва минуло шестнадцать лет, когда, увлечённый её необыкновенной красотой и высокими душевными качествами, к ней посватался третий сын Василия Яковлевича Шервуда — Джозеф (Иосиф). Первое время молодые жили в московском доме Шервудов. Но вскоре Иосиф Васильевич уехал с женой в купленное им село Ислеево Елатомского уезда Тамбовской губернии, где построил суконную фабрику.

18 августа 1832 г. у Иосифа Васильевича и Елизаветы Николаевны родился сын Владимир¹. Ему исполнилось всего шесть лет, когда умер отец, а вскоре скончалась и мать. Мальчика отвезли в Москву, и он воспитывался у тётушки Марии Николаевны Кошелевской, а восьми лет от роду был помещён в Московский сиротский дом, вскоре преобразованный в Межевое училище. Особое внимание уделялось здесь черчению и рисованию, но изучалась и архитектура, которую преподавал даровитый архитектор и прекрасный рисовальщик П. П. Зыков.

Владимиру прочили карьеру художника. Уже в сиротском доме он устраивал декорации для школьных спектаклей, писал акварелью портреты товарищей. Попечитель училища, князь Дмитрий Михайлович Львов, видя способности юноши к искусству, смотрел сквозь пальцы на его невнимание к другим наукам. Всё свободное время Владимир отдавал занятиям архитектурой и рисованием. Он часто говорил тётушке, что хотел бы посвятить всего себя искусству, но та настаивала на окончании курса.

Помог случай. П. П. Зыков не уставал рассказывать знакомым архитекторам и художникам о своём талантливом ученике, и вот однажды Владимир получил заказ на несколько проектов. Гонорар за выполненную работу оказался ненужным — около 50 руб. Когда тётушка в очередной раз пришла навестить племянника, он, сохраняя полную невозмутимость, вынул из кармана деньги и отдал ей. Узнав, каким образом они заработаны, растроганная Мария Николаевна сказала: «Я вижу, тебя надо взять. Должно быть, судьба велит идти тебе по стопам своего деда».

При содействии Зыкова Владимир Шервуд поступил в Архитектурную школу при Московской дворцовой конторе. Директор школы, профессор Фёдор Фёдорович Рихтер, оценив способности юноши, хлопотал, чтобы его послали в Академию художеств, но безуспешно. Тогда Владимир перешёл в Московское училище живописи и ваяния и в 1857 г. получил звание свободного художника «по части живописи пейзажной». Познакомившись через своего двоюродного брата с англичанином Чарлзом Диккенсоном, контора которого находилась в Москве, он в начале 1860-х гг. отправился в Англию писать портрет с него самого и членов его семьи.

В Англии Шервуд прожил пять лет, занимаясь живописью и архитектурой. Вернувшись в Россию, он открыл в Москве художественные классы. Им создан ряд портретов, в том числе А. В. Станкевича, А. И. Герье, Б. Н. Чичерина, Н. Х. Кетчера, М. Ф. Корша, О. В. Ключевского, А. И. Кошелева, Ю. Ф. Самарина, В. А. Долгорукова. В 1868 г. за картину «Беседа Христа с Никодимом» Академия присвоила ему звание классного художника третьей степени, в следующем году за представленные на выставку портреты — художника первой степени, а в 1872 г. — академика живописи.

Широко известна скульптура В. О. Шервуда «Боян», готовившаяся для Исторического музея и получившая премию на Всероссийской выставке 1882 г. Один из посетителей его мастерской так описывает изваяние: «На земле полулежит титанический вещий старик в рубахе, портах и плаще. Густота волос, бровей и бороды соответствует эпической мощности торса. С земли приподнята согбенная верхняя часть тела, голова с напряжённым вниманием протянута к апостолу (Андрею Первозванному. — В. В.); могучие руки приложены к первобытной арфе, одна упирается в неё, другая уже соскальзывает со струн».

Шервуд часто выступал и в качестве публициста. В 1880–1890-х гг. он сотрудничал в «Московских Ведомостях», «Русском Обозрении» и других изданиях. Из его работ по теории искусства обращает на себя внимание труд «Опыт исследования законов искусства. Живопись, скульптура, архитектура и орнаментика» (1895).

Умер Владимир Осипович 9 июля 1897 г., он похоронен на старом кладбище Донского монастыря.

* * *

В жизни В. О. Шервуда был эпизод, которому сам он придавал особенное значение и которому посвятил несколько страниц своих «Записок» (ныне хранятся в Российской государственной библиотеке). Ниже мы приводим этот отрывок, озаглавленный «Вечера у Шевырёва (Гоголь)» и датированный 14 ноября 1895 г. Вспоминания эти интересны тем, что не только многое объясняют в судьбе Шервуда — художника, но и содержат новые, неизвестные ранее факты из биографии Гоголя.

Они познакомились, видимо, в 1850 г. через Степана Петровича Шевырёва, друга Гоголя, профессора Московского университета. В ту пору Шервуд учился в Архитектурной школе и зарабатывал на жизнь частными уроками. Дату знакомства помогает установить записная книжка Гоголя, где есть краткая пометка, относящаяся к 1850 г.: «Шервут»². В комментариях академического Полного собрания

сочинений Н. В. Гоголя отмечено: «Шервут — лицо неустановленное»³. И имени В. О. Шервуда мы не встретим ни в биографической, ни в мемуарной литературе о писателе. Вот контекст, в котором оно упомянуто у Гоголя:

«Шевырёву о Рихтере. У Рихтера о школах архитектур^{<ы>} и рисованья и юношах, годных в учители, о бедных, дающих уроки рисованья, о рисовальных школах и книгах, издан^{<ных>} рисовал^{<ными>} школами. <...> Шервут»⁴.

В «Записках» Шервуд рассказывает, что Шевырёв, видя ограниченность его средств, поручал ему небольшие заказы. В распоряжении Шевырёва находились гоголевские деньги, которые предназначались «на вспоможение бедным людям, занимающимся наукой и искусством». Возможно, что Шевырёв помогал начинающему художнику именно из этих средств. Среди новых сведений, сообщаемых Шервудом о Гоголе, важен прежде всего сам факт знакомства писателя с безвестным тогда художником. Примечательно описание (отчасти со слов Шевырёва) того, как работал Гоголь. Рассказ о чтении Гоголем «Ревизора» в Италии в некоторых деталях перекликается с тем, что сообщает в своих воспоминаниях известный художник-гравёр, ректор Академии художеств Ф. И. Иордан. В суждениях Гоголя на архитектурные темы можно найти отголоски его статьи «Об архитектуре нынешнего времени» (1834).

Среди упоминаемых лиц — люди из ближайшего окружения Гоголя: художник А. А. Иванов, историк М. П. Погодин, искусствовед и математик Ф. В. Чижов, публицист Ю. Ф. Самарин, актёр М. С. Щепкин, доктор А. Т. Тарасенков... Кстати, Тарасенков не являлся, как иногда считают, домашним врачом Гоголя — до предсмертной болезни писателя они были едва знакомы. Из «Записок» следует, что Тарасенков пользовал семью графа Александра Петровича Толстого и взялся лечить Гоголя лишь потому, что тот жил в доме графа. Известные воспоминания Тарасенкова «Последние дни жизни Н. В. Гоголя» основаны не только на личных наблюдениях, но и на сведениях, полученных от других лиц. В данной связи примечательно замечание Шервуда о Тарасенкове: «Он был, между прочим, доктором Толстых и следил последнее время за болезнью Гоголя, которую и описал в брошюре и где, между прочим, были ему сообщены и мною некоторые факты».

Отрывок «Вечера у Шевырёва (Гоголь)» печатается с небольшими сокращениями. В оригинале это — не без труда прочитываемая карандашная скоропись. Нами восстановлены сокращённые В. О. Шервудом отдельные слова, учтены цифровые и условные обозначения, текст разбит на абзацы, имеющиеся в рукописи некоторые стилистические погрешности не исправляются.

* * *

«Не раз случалось бывать на вечерах у Степана Петровича (Шевырева). Народу было много; видел я там Погодина, Аксаковых и Гоголя. В это время много было говорено о Рафаэле и вообще о западном искусстве. Наши славянофилы были хорошие знатоки европейской цивилизации. Высказывались мнения и о возможностях русского искусства, причем все разговоры сосредоточивались на Александре Андреевиче Иванове. Шевырев, Гоголь, Чижов посыпали Иванову древние иконы.

Гоголь был другом Иванова, он сам рассказывал мне, что спал с ним на одной кровати, и для меня не осталось никакого сомнения, что вся сила высокорелигиозного одушевления и традиционность типов Иванова в его картине “Явление Христа народу” было наполовину делом так называемых “славянофилов”.

<...> Смолоду я был очень осторожен <...> Общество было выше меня, и я держался в нем, как ученик. <...> Меня очень занимал Гоголь. Его рассказы из тех произведений, которые были у него на очереди <...> Гоголь производил поражающее впечатление своим искренним юмором, но он изменялся в лице, как будто и самый костюм на нем становился другим, и он, меняя всевозможные голоса, рассказывал сцены из своих произведений. Приведу рассказ Ю. Ф. Самарина, поскольку я его помню, конечно, как в Италии впервые русским друзьям читал Гоголь “Ревизора”⁵. Одна из особенных черт гениальных людей, которая так резко выделялась у Гоголя, это способность уходить в себя, как будто он не замечал окружающего. “Мы уже давно собирались, — говорил Юрий Федорович, — в большой зале; недалеко от двери был поставлен стол, две свечи и стакан воды. Все ждали с нетерпением появления Николая Васильевича. Дверь отворилась, и, бледный как мертвец, с серьезным, значительным выражением лица, с тетрадью в руках, вошел Гоголь. По обыкновению он читал, как самый превосходный актер: он не называл имен, но по изменению голоса можно было догадываться о лицах. И в то время как все не могли удержаться от невольного хохота, Гоголь, все такой же бледный и серьезный, спокойно сидел, и ни один фибр его лица не дрогнул при общем заразительном смехе!”.

Вообще он казался серьезным: <сидел>, понуривши голову, прядь волос спадала на его лоб и придавала ему еще более унылый вид, но черты лица его были ясны: он не хмурился; можно было думать, что это эпическое спокойствие как бы выражало его равнодушие. Он редко улыбался, да и улыбка его была скорее насмешливая, чем добродушная. Одевался он франтом, носил альмавиву⁶, только в последние годы его жизни я его встретил раз в дождливую погоду в шинели, которая была сделана из такого простого материала, что вся как-то торчала во все стороны, и это далеко не было элегантно.

Гоголю я также был рекомендован, и после нескольких вечеров как-то раз он незаметно пересаживался с одного стула на другой и наконец как будто нечаянно очутился рядом со мной. Я невнятно сделал ему несколько вопросов, и тут он впервые высказал мне надежды свои на будущность русского искусства: живописи и архитектуры. Странно, что он <так> чувствовал русскую архитектуру. Он рассказал о других архитектурах, о каком-то смешении разных стилей, говорил, что железо как новый материал достигло возможности игривых, живых форм, парящих ввысь; вместе с тем он восхищался и египетским стилем, его примитивной и изящной раскраской, и хотя не упоминал о русском стиле, но все те элементы, на которые он указывал, действительно составляют стороны русского зодчества.

Гоголь позвал меня к себе, и вот в первый раз я забрался к нему на Никитский бульвар в дом графа Толстого. Он жил внизу, где и скончался. На диване карельской березы с kleenчатой или кожаной обивкой сидел в халате Николай Васильевич. Перед ним — круглый стол того же дерева, на котором лежали буквально клочки

бумаги в виде каких-то треугольников, листков, оторванных от писем, на которых было написано по нескольку слов. Я спрашивал потом Шевырева, что это за явление? Николай Васильевич, прежде чем окончательно написать свое произведение, и только те слова, которые производили сильное впечатление, — он записывал. Словом, он собирал так одни бриллианты и потом со всем искусством соединял их в целое. Я часто думал, что самое высокое проявление литературы есть поэзия. Не говоря уже о высоком поэтическом одушевляющем построении, она имеет и краткость, и силу, и необыкновенную благозвучность, которая составляет величайшую прелесть человеческой речи; поэтому поэтов всегда цитируют; но, увы, многих прозаиков речения цитировать нельзя <...> а Гоголя-то, оказывается, цитировать можно. Я знал людей, которые наизусть знали его целые страницы. Возьмите вы любые десять строчек из Гоголя, вы найдете в них интерес. Вот эта ювелирная работа — такое любовное отношение к слову — и делает истинного художника, каким был Гоголь.

“Что вы компонуете?” — спросил меня Николай Васильевич. В это время я сочинял большую композицию “Смерть Самсона”. Конечно, это был детский лепет. Я рассказал Николаю Васильевичу, что мне хочется изобразить пир филистимлян, жертвоприношения Молоху, разнуданность земных страстей, и в это время Самсон раздвигает колонны — в мощной и крестообразной позе. Словом, люди увлекаются, не думая, что над ними каждый час может разразиться страшная гроза. Гоголь знал, как трудно писать большие картины, — по работе Иванова; рассказал мне весь ужас этого подвига и закончил такими словами: “Я знаю, вам хочется расписать Кремлевскую стену, но погодите, смиритесь до возможности, и если вам предложат расписать блюдо, то делайте и это, но так, чтобы вы могли себе сказать, что лучше этого я не могу сделать, и поверьте, что вы этим путем пойдете вперед и будете достойны служить своему Отечеству!”.

Я никогда не решался посещать его без его приглашения. Случалось, кому-нибудь нужен урок из его знакомых, он рассказывал про этих людей, делая очень тонкие и меткие замечания, и давал советы, прежде чем познакомить меня с этими людьми; но когда отдельная речь кончалась, я вставал, и он часто удерживал меня, но я заявлял ему, что не имею никакого права для своего удовольствия или даже пользы отнимать у России драгоценные минуты его творчества.

Наконец я узнал, что Гоголь захворал. Я явился на его квартиру, чтобы узнать о его здоровье, и Алексей Терентьевич Тарасенков передал мне все подробности. Положение было трагическое. Его подозревали в сумасшествии, его подозревали в каких-то изумительных болезнях, но, по свидетельству Тарасенкова, ничего подобного не было. Тут приехал к нему вице-губернатор Капнист и еще несколько друзей, и все они стоят в комнате, где лежал на диване Николай Васильевич. Он был лицом к стенке дивана, на которой висела икона. Но друзья были неосторожны, и до Гоголя долетело слово, из которого он ясно мог понять, что они считают его умалишенным. Капнист твердил: “Бедный Колушка, бедный!” Но Гоголь обернулся и говорит ему: “У вас в канцелярии десять лет служит на одном месте чиновник, честный, скромный и толковый труженик, и нет ему ходу и никакой награды; обратите внимание

на это, ваше превосходительство, хотя бы в мою память”⁷. Кто же в это время имел больше здравого смысла и справедливого отношения к жизни.

Не стану повторять, что уже написано в брошюре Ал. Т. Тарасенкова о последних минутах Гоголя, несомненно для меня одно, что болезнь Гоголя была органическое, наследственное расстройство желудка; я слышал от него, как они в Италии пировали в каком-то отеле, и Гоголь становился на бочку и произносил похвальные речи повару. Но эти обеды ему никогда не проходили даром. Он сам рассказывал мне, как он хворал желудком. Дело в том, что его отец умер на том же году жизни и таким же загадочным недугом⁸, в котором все-таки было заметно органическое расстройство желудка.

Когда Николай Васильевич лежал больной, приехал Михаил Семенович Щепкин и звал его на блины: была Масленица, и так рассказывал аппетитно о своих блинах, что у Гоголя невольно загорелись глаза: “Отойди ты от меня, сатана, ты меня искушаешь”.

Не стану описывать возмутительное отношение к похоронам Гоголя, того Гоголя, который написал Тараса Бульбу, который до сих пор подымает дух не только русского, но и всего славянства. Не могу не упомянуть, что в Англии некто написал несколько писем, которые вызывали патриотические чувства, и парламент за тричетыре письма назначил ему громадную пожизненную пенсию. Вот это так.

Слова Гоголя точно были пророчеством: мне пришлось рисовать блюдо на коронацию великого Государя Александра Николаевича, и блюдо это одним материалом — золотом — стоило 40 000 руб.

Всё же я был очень молод и скорее чувствовал, чем понимал, этих великих людей».

¹ Дата рождения В. О. Шервуда уточнена по архивным источникам (Свидетельство, выданное Тамбовской духовной консисторией о рождении и крещении, с записью о смерти).

² Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: в 17 т. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009. Т. 9: Выписки из творений Святых Отцов, Каноны и песни церковные. Словари. Записные книжки / сост., подг. текстов и comment. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. С. 674.

³ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: [в 14 т.]. [Без м. изд.], 1952. Т. 9: Наброски, конспекты, планы. Записные книжки. С. 663.

⁴ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: в 17 т. Т. 9. С. 674.

⁵ Известно, что в 1841 г. в Риме Гоголь читал «Ревизора» у княгини З. А. Волконской в Palazzo Poli. Однако сведениями о присутствии на этом чтении Ю. Ф. Самарина мы не располагаем.

⁶ Альмавива — широкий мужской плащ-накидка без рукавов, модный в первой половине XIX в.

⁷ Этим чиновником был сын священника Иоанна Никольского, настоятеля церкви Преподобного Саввы Освященного на Девичьем поле, духовника Гоголя.

⁸ Гоголь умер на 43-м году жизни, его отец — на 48-м. По свидетельствам современников, Гоголь был убеждён, что ему суждено умереть в том же возрасте, в котором умер его отец и от той же болезни. По поводу диагноза предсмертной болезни писателя у специалистов нет единого мнения.